

ЕВГЕНИЙ ЧИЖОВ

САМОУБИЙЦЫ И ДРУГИЕ ШУТНИКИ

ПОЧТИ ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

18+

Проза нашего времени (АСТ)

ЕВГЕНИЙ ЧИЖОВ

Самоубийцы и другие шутники

«Издательство АСТ»

2024

УДК 821.161.1-32
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

Чижов Е. Л.

Самоубийцы и другие шутники / Е. Л. Чижов — «Издательство АСТ», 2024 — (Проза нашего времени (АСТ))

ISBN 978-5-17-159845-7

Евгений Чижов – прозаик, дважды финалист «Большой книги», лауреат премии «Венец» Союза писателей Москвы («Перевод с подстрочника»), финалист премии «НОС» и лауреат «Ясной Поляны» («Собиратель рая»). Непохожих друг на друга персонажей рассказов Евгения Чижова объединяет их неизменная готовность к экспериментам над собой в поиске своих, незаемных истин, их легкость в обращении с жизнью и смертью и безоглядность, с которой они способны перейти границу между ними. Завороженный этой легкостью автор рассказывает истории своих героев, порой пересекающиеся с его собственной, и тогда повествование приобретает автобиографический характер, а иногда вырастающие до развернутых метафор катастроф нашего времени.

УДК 821.161.1-32
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-159845-7

© Чижов Е. Л., 2024
© Издательство АСТ, 2024

Содержание

Автостоп-1984	6
Сеня	16
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Евгений Чижов
Самоубийцы и другие шутники

Художник *Василий Половцев*



РЕДАКЦИЯ **ИЗДАТЕЛЬСТВО**
ЕЛЕНА **АСТ**
ШУБИНОЙ **МОСКВА**

© Чижов Е.

© ООО «Издательство АСТ»

Автостоп-1984

Дарье Сапрыкиной, моей советнице

Солнечным утром в середине июля 1984 года один немного знакомый мне молодой человек по кличке Джексон вышел с двумя друзьями на шоссе, ведущее из Москвы в направлении Таллина, и, подняв правую руку, стал ловить или, как говорили его друзья, стопить проезжающие машины. Не имеет смысла писать, что это утро было свежим, сияющим, влажным и тому подобное, потому что Джексону было восемнадцать лет, он только что сдал почти целиком на отлично свою первую сессию, и, какой бы ни была погода, это утро могло быть для него только прекрасным. Кличку Джексон дали ему друзья, которые тоже именовались соответственно: Крис и Дрон. Сперва Крис хотел прозвать его Джоном, но ему возразили, что Джон – это святое, Джон может быть только один – Леннон, нужно придумать что-нибудь другое. Так появился Джексон, это было даже больше созвучно с его настоящим, вполне обычным русским именем, чем Джон. Оба его друга носили волосы до плеч, у невысокого смешливого Криса они были темные, у начинающего полнеть очкарика Дрона светлые; оба они были хиппи, еще в старших классах школы освоившие незамысловатую хипповскую философию и вошедшие в «систему» – так называли тогда хиппи свое разбросанное по городам и весям СССР сообщество. Джексон не был хиппи, сразу после школы он избрал стезю, прямо противоположную образу жизни его шалопайных друзей, и поступил на юридический факультет Московского университета, в устрашающей вступительной речи названный деканом «политическим». Что это конкретно означает, Джексон не понял, но по всему мрачно-многозначительному виду декана почувствовал, что на новоиспеченных студентов вот-вот будет возложена ответственность за судьбу страны, если не всего мира. И уж точно за собственный моральный облик, над которым вследствие этого хотелось надругаться как можно быстрее и окончательней (но, конечно, так, чтобы на факультете об этом не узнали). Его однокурсники попросту напивались в стельку в общегитии на проспекте Вернадского или в ближайших к университету пивных, но Джексон, уже тогда отличавшийся радикальностью, выбрал путешествие автостопом с друзьями-хиппарями.

И тут, пока он ждет свою первую попутку, мне хочется, пользуясь нашим с ним особенным знакомством, позволяющим мне обращаться к нему напрямую через время и расстояние, спросить:

– Куда тебя понесло? Это же совсем не твоя компания! Ты же равнодушен к хипповским кумирам, наподобие Гессе, зато прочел уже главные романы Достоевского, едва ли не наизусть знаешь одержимых стилем одесских писателей двадцатых годов и даже осилил первый том Пруста! Ты же почти не слушаешь рок, но по приглашению совсем других своих, начитанных и умных друзей, регулярно ходишь в Консерваторию. Что ты хочешь найти среди этих бродяг, бездельников и попрошайек?

Он отвечает не сразу и не слишком уверенно:

– Мне кажется, я хотел бы не найти, а потерять. Избавиться от предрешенности своей жизни: юридический факультет по стопам матери, потом будет, конечно, адвокатура – у меня в ней работало три или четыре поколения предков еще с дореволюционных времен – и соответствующий круг знакомых, вроде тех, что приходят по праздникам к родителям, у меня уже зубы от тоски сводит от их анекдотов и шуток! Неужели я не гожусь ни на что другое? Я хочу сойти с этой колеи, хотя бы на пробу...

– Ну-ну, – только и говорю я ему. – Ну-ну...

Первая же остановившаяся машина разделяет троицу, потому что в кабину грузовика могут поместиться максимум двое. И дальше, на протяжении всего путешествия – а путь ждет

неблизкий, по всем западным, потом юго-западным окраинам СССР – им предстоит расставаться и встречаться вновь. Чтобы не растеряться, будут оставлять на главпочтамтах открытки до востребования с указанием, где и когда назначают встречу. Это работало, хотя и не без сбоев. Подвозили тогда легко, подолгу стоять на обочине не приходилось, в России и прибалтийских республиках денег особо не спрашивали, знали, что у хиппи платы за проезд не допросишься: «Это же русские цыгане, – сказал везшему Джексона дальнбойщику напарник. – Что с них возьмешь?» Джексон запомнил, ему понравилось – он был не прочь побыть некоторое время «русским цыганом».

Вместо денег расплачивались разговорами: анекдотами, байками, нехитрой хипповской философией. Джексон был в этом не силен, все известные ему анекдоты заканчивались за полчаса, поэтому он предпочитал сам расспрашивать водил о жизни. Ему и правда было любопытно. Те отвечали в основном охотно: нечасто кто-то интересовался их мнением. Поругивали, кто ленивее, кто злее, дороги, зарплату, власть, как привычно ругают скверный климат, установившийся от века, об изменении которого никому в голову не придет думать всерьез. Никто, конечно, не подозревал, что власти в ее тогдашнем виде остался всего год, а вслед за ее сменой начнет с нарастающей скоростью меняться вся страна, чтобы через семь лет распасться на части, обрести другое имя и строй, так что ругают они, по сути, того, кто уже находится при смерти.

Только один попался Джексону водитель, чье недовольство жизнью превышало средний уровень, достигая накала беспримесной ярости. При этом вся она была направлена на частных, владельцев легковушек. Когда стемнело, этот молчаливый немолодой дальнбойщик протянул Джексону коробку, полную тяжелых болтов и гаек:

– Как обгону легковую, сразу швыряй гайку, не сомневайся.

– Да ты что?! Запросто же убить можно!

– А так им, гадам, и надо! Чтoб не воровали! Я всю жизнь за баранкой – хоть на одну машину себе заработал? Нет! Так-то! Швыряй, давай, а то высажу посреди дороги, будешь в лесу ночевать.

Это был настоящий охотник за легковушками, неистовый борец с частной собственностью. Завидев впереди фары легковой машины, он изо всех сил давил на газ, и его старый грузовик с надрывным ревом летел по ночному шоссе. К счастью, ночью легковые встречались редко, обогнать их было сложно, а если это все же удавалось, Джексон скидывал гайку вдоль борта грузовика, чтобы исключить попадание.

– Ну что, засадил ему в лобешник?! – в азарте охоты кричал водитель.

– Не знаю... Вроде промахнулся.

– Ничего, вон впереди еще один маячит. Сейчас догоним. – И сумасшедшая погоня возобновлялась.

При таких условиях охоты Джексон был уверен, что на его совести нет ни одной жизни частного и ни одного разбитого лобового стекла, но все равно, как только грузовик въехал в первый же город, попросил его высадить.

В Эстонии начиналась Европа. Все здесь было уже другое: аккуратные небольшие поля, иначе сложенные стога, стоящие по отдельности хутора. В Таллине в старинной крепостной стене располагались кафе, где угощали кофе с ликерами и крошечными многослойными пирожными. Ничего подобного Джексон прежде не пробовал. Понравилось. Во дворе средневекового монастыря показывали «пластическую драму»: полтора часа непонятных извиваний под музыку «Пинк Флойд» – новое, европейское искусство. Озадаченный и слегка оглушенный, Джексон вышел на улицу, побродил немного по Таллину, а потом встретился в кафе у ратуши с подъехавшими позже Дроном и Крисом. С ними сидел местный длинноволосый, которого звали Расмус, Джексон так и не понял, кличка это или настоящее имя. И этот Расмус, покончив с кофе и пирожными, деловито и как бы между прочим сказал:

– Кстати, есть *ханка*. Никто *вмазаться* не желает?

Прозвучало это до того естественно, как будто у них тут просто так принято – угощать гостей самодельным героином – обычная европейская вежливость. Осторожный Дрон отказался, мол, голова у него что-то болит, желудок не на месте, он бы и рад, но не сегодня, зато Крис с легкостью согласился. Эта легкость подкупила Джексона, и он тоже утвердительно кивнул. И вот они уже идут к Расмусу домой, и Джексон получает первый в жизни укол коричнево-бурого вещества в вену. Откинувшись на диване в пустой обшарпанной комнате, он испытывает свой первый *приход*: колючий жар поднимается снизу к голове, затем озноб и чувство, будто внутри тебя, беззвучно трясясь от ярости, стартует бешеный мотоцикл. Тут я уже не выдерживаю и, пока он вникает в меняющиеся ощущения, кричу ему:

– Ты хоть понимаешь, что ты делаешь?! Ты понимаешь, что это статья?! А про *передоз* ты слышал? Про заражение крови грязной иглой? Знаешь, сколько твоих знакомых умрет от этого в девяностые?! Сейчас ты этого, конечно, знать еще не можешь, но я-то знаю!

– А что мне было делать? – отвечает Джексон. – Как я мог отказаться? Струсить? Ну уж нет. Да я и не хотел отказываться. Я не мог не попробовать – только так можно освободиться от вчерашнего и всегдашнего себя, а без этого нет настоящей свободы: куда бы ты ни ехал, везде таскаешь себя с собой! Только так чувствуешь, что каждое твое слово, движение, поступок могли быть иными – любимыми! Так понимаешь, что ничто не предопределено.

– Значит, ты сошел с колеи студента МГУ, будущего юриста, чтобы войти в колею наркомана? Осталось дожидаться, когда ты схлопочешь срок и покатишься по колее уголовника!

– Да почему сразу наркомана-то?! В том-то и дело, чтобы двигаться по разным колеям одновременно – только так можно не увязнуть ни в одной из них.

– Значит, ты хочешь разъезжать с хиппи и в то же время учиться на юридическом, употреблять наркотики и не быть наркоманом?

– Представь себе! Быть хиппи так же банально, как юристом, тех и других пруд пруди, а вот быть тем и этим сразу... экспериментировать с наркотиками и не стать наркоманом – не так уж и много тех, кому это удавалось. Может быть, в этом мой шанс найти что-то небанальное.

Приход заканчивается, уступая место ровному возбужденному состоянию, Джексон с приятелями выходят на улицу и садятся в переполненный трамвай. Куда они едут? Джексону нет до этого дела, потому что очень скоро он начинает *полоскаться*: жидкость стремительно поднимается из желудка и наполняет рот. Ее так много, что нужно срочно выплюнуть, приходится пробиваться к окну трамвая и сплевывать в него. Обычная реакция на *ханку* непривыкшего организма, объясняют друзья. Не успевает Джексон отдышаться, как все начинается снова, опять он вынужден проталкиваться к окну, потом еще раз и еще. Любой из пассажиров с первого взгляда должен понять, что с ним происходит, но они, похоже, не обращают на него внимания. Или делают вид, что не обращают. Наверное, это европейская привычка к невмешательству в чужую частную жизнь – сейчас она ему на руку.

Трамвай остановился на конечной, они пересели на автобус, выехали за город, и только тут Джексон узнал, куда и зачем они ехали. А ехали они на *дербан* — собирать сырье для ханки. Расмус с Крисом принялись планомерно обходить дачные участки, чьи хозяева выращивали мак, надрезать бритвой маковые головки и собирать на бинт выступавший из них белый сок. А Дрон с Джексоном банально встали на шухере. «Ох, заметут нас, чувствую, заметут», – переживал нервный Дрон. Джексон стоял неколебимо, как часовой на посту, глядя на заходящее над маковыми посадками солнце. На него снизошел покой.

– О чем ты думаешь? – спрашиваю я его. – Ты ведь не чужой мне человек. Ты мог бы быть моим сыном – если бы не был мной. Но нас разделяет больше тридцати лет, и я понятия не имею, что происходит в твоей восемнадцатилетней голове. Думаешь ты вообще о чем-нибудь?

– Не беспокойся за меня, – отвечает Джексон. – Со мной всё в порядке. Никогда я не был так уверен, что то, что я делаю, правильно. Мне необходим этот опыт риска и свободы, без

него я никогда не смогу сделать ничего стоящего. Я двигаюсь в верном направлении и ничего не боюсь. И думать мне сейчас ни о чем не нужно, я просто смотрю на закат.

Все обошлось: их не замели, они благополучно вернулись в Таллин и, прожив несколько дней у Расмуса, выехали в Ригу. Путешествие автостопом не предполагает длительных остановок. Дорога сама по себе наркотик, заставляющий вновь и вновь срываться с места, вызывающий привыкание к движению, к непрерывной смене пейзажей за окнами машины. Дорога становится постоянным домом, а все прочие дома, где останавливаешься на одну или несколько ночей, делаются призрачными, исчезая в прошлом без следа. В дороге у тебя нет ничего, кроме мгновения настоящего, которым ты всегда можешь распорядиться, как захочешь, в любую минуту сменив направление, изменив задуманный маршрут.

В Риге, отстояв немалую очередь, они сходили на органнй концерт в Домский собор (музыкальный Дрон вздыхал и протирал очки, верный рок-н-роллу Крис откровенно скучал, да и Джексону органнне переливы скоро стали казаться чересчур торжественными), а оттуда отправились в хипповский лагерь на реке Гауя. Несколько палаток стояло в лесу у впадения Гауи в Рижский залив, так что можно было выбирать, купаться в реке или в заливе. На берегу залива раскинулся огромный безлюдный пляж, чей белоснежный песок был изрезан глубокими колеями от танковых гусениц – рядом находился полигон, глухой рев раздавался оттуда почти постоянно, а раз в несколько дней по пляжу с грохотом проносились чудовищные военные машины. Тогда загоравшие гольшом хиппи вскакивали и начинали прыгать на их пути, тряся своими причиндалами и выкрикивая пацифистские лозунги. Один раз танк остановился и стал угрожающе поворачивать башню в направлении обнаженной компании. Сразу сделалось не по себе. Не то чтобы кто-то верил, что он способен выстрелить, но проезжавший с ревом и вонью по пляжу танк казался всем нелепым кошмаром, когда же он, дрожа от ярости и оглушительно рыча, вдруг встал рядом с ними, нелепыми в своей полной незащитности под дулом орудия показались себе они сами. Это, надо сказать, совершенно особое чувство – стоять голым рядом с развернувшим на тебя башню танком. Запоминается надолго.

Джексон рядом с танком не прыгал, стеснялся, но не мог отвести глаз от белобрысой девушки, прыгавшей выше всех, которую звали Танька-Китайка. У нее была крошечная, совсем не мешавшая ей прыгать грудь и, наверное, много подбрасывавшей ее вверх пружинящей силы внутри. Китайкой ее прозвали из-за узких, как будто прищуренных глаз, точно она постоянно глядела на солнце. Джексону всегда, когда бы он ни взглянул на нее, даже в пасмурные дни, виделся на ее лице солнечный отсвет. Но вообще-то он изо всех сил старался на нее не смотреть – и тем громче раздавался в его ушах ее голос, звук шагов по песку, шорох ее полотенца. В свои восемнадцать лет он знал женщин пока только теоретически – школьные истории не в счет – и всерьез думал, что ему бы всего один раз испытать этот не совсем ясный ему процесс, описание которого во всех романах опускают, а потом можно будет, больше уже об этом не беспокоясь, вернуться к книгам.

Вечером, когда все в лагере собрались вокруг костра, Китайка сама под села к нему, коснулась голым плечом его плеча, спросила, кто он и откуда. Джексон ответил и в свою очередь узнал, что она из Питера, учится на 4-м курсе медицинского, а значит, старше него – ей уже двадцать один. Это, впрочем, и так было заметно. Они поболтали о разном, но важнее разговора были паузы, заполненные гулом разгоревшегося костра и говорящим касанием кожи.

А на следующий день из Риги приехали еще трое: девушка по прозвищу Конфета и два парня. Китайка была с ними знакома и обнялась с каждым, особенно радостно с длинноволосым, которого звали Элис. Этот Элис непрерывно что-то говорил, кажется, пересказывал «Махабхарату» или «Рамаюну», при этом постоянно чесался – какой-то был у него, видимо, зуд. Говорил и чесался, чесался и говорил. Китайка и Конфета смотрели на него с восхищением, боясь упустить хоть слово. Ближе к вечеру Китайка спросила у Джексона:

– Не будешь возражать, если мы ненадолго устроимся в твоей палатке?

У Джексона была отдельная новая палатка, чистая и почти пустая, в отличие от всех остальных в лагере, старых и заваленных вещами.

– Да нет, – пожал он плечами, – устраивайтесь ради Бога.

– Ты тоже приходи.

Он промолчал, сразу поняв, для чего они собираются устроиться в его палатке. Китайка взяла его за руку и требовательно спросила, заглянув в лицо:

– Придешь?

– Подумаю, – ответил Джексон.

Конечно, он не пришел. Наоборот, он ушел из лагеря, но расположился на берегу Гауи так, чтобы видеть свою палатку. Он лежал там один, никому не видимый и ненужный, но все равно притворялся, что смотрит совсем в другую сторону, оборачиваясь при этом каждые несколько секунд. В его палатку забрались Китайка с Конфетой, Элис и приехавший с ним парень, Джексон слышал их смех, до него доносились отдельные слова, потом стоны, палатка ходила ходуном, вздуваясь с боков и сверху, из-под дверного полога высывались то одни, то другие ноги, то сразу несколько пар ступней, резво менявшихся местами. Джексону казалось, что он узнает среди них ноги Китайки, только что они были снизу, а вот уже сверху, хотя, может, это и Конфета... Наконец, все четверо вывалились из его палатки, голые, взмыленные, смеющиеся и, шлепая друг дружку по разгоряченным телам, побежали купаться в залив.

На следующий день Джексон собрал свои вещи и, не задерживаясь в Риге, уехал в Вильнюс.

Снова было ожидание на трассе, потом плавное вращение за окнами машин промытых дождями прибалтийских пейзажей. Дорога освобождает от прошлого, и днем, болтая с водителями или провожая глазами лиловые заросли иван-чая, Джексон почти не думал об оставшейся на Гауе Таньке-Китайке. Только ставя на ночь палатку, он чувствовал в ней запахи чужих тел, казалось, ему удастся различить среди них ее запах, и он долго не мог уснуть. Но потом все-таки засыпал – проблем со сном в восемнадцать лет у Джексона не было.

В Вильнюсе он договорился встретиться с раньше него уехавшим с Гауи Крисом, но встреча сорвалась. На главпочтамте Джексон получил открытку с указанием, в каком кафе и когда Крис будет его ждать. Разыскивая это кафе, он расспрашивал местных, и те, неизменно доброжелательно улыбаясь, заботливо направляли его в прямо противоположную сторону. Джексона когда-то предупреждали, что такое случается – русских в Литве, как и повсюду в Прибалтике, не любят (слово «оккупанты» тогда еще не звучало, просто не любят и всё), но он не ожидал, что это коснется его лично. В результате Джексон пришел в кафе намного позже назначенного времени, Крис его не дождался, и ехать дальше ему пришлось одному.

В Белоруссии он уснул рядом с водителем, и тот завез его в какую-то дремучую глухомань. Высаженный на перекрестке, Джексон так и не смог найти место, где очутился, в «Атласе автомобильных дорог Советского Союза», помогавшем ему ориентироваться. По обе стороны шоссе стеной стоял непроходимый темный лес. В таких лесах, наверное, скрывались от фашистов партизаны. Рассказывали, что местные и сейчас находят в них любое оружие времен войны – от пистолетов до тяжелых орудий – чистят, продают на черном рынке и этим живут. Машины на перекрестке появлялись по одной в час и, видимо, боялись останавливаться, чтобы взять неизвестного, так что Джексону пришлось простоять в этом мрачном месте полдня, прежде чем его подобрал автобус, полный едущих на сельхозработы крестьян. Все они были пожилые, с темными лицами в трещинах глубоких морщин, женщин заметно больше, чем мужчин, в основном старухи в платках, телогрейках или старых линялых платьях, бдительно изучавшие вставшего в проходе между сиденьями Джексона сквозь щели прищуренных глаз.

– Ты кто же такой? – спросил его наконец широкоплечий мужик в спецовке.

«Если скажу, что я Джексон, – подумал Джексон, – точно решат, что диверсант. Еще в милицию сдадут». Рассказал, что из Москвы, едет автостопом в Минск и дальше на юг.

– Что ж ты такой худой? – сокрушенно вздохнула старушка в застиранном халате. – Есть там у вас в Москве совсем нечего, что ли? А еще говорят, что там жизнь сытая! Или ты в дороге так отощал?

Она развернула матерчатый узелок и протянула ему плоскую лепешку.

– На, поешь, а то не доедешь.

Джексон стал отказываться и тут увидел, что все, кто был в автобусе, достают узелки, сумки, авоськи и со всех сторон протягивают ему свои припасы. Тогда он вспомнил, что уже двое суток ничего не ел – в том возрасте он совсем не думал о еде, мог по нескольку дней даже не вспоминать о ней – и под завязку набил рюкзак продуктами. Вкус того белорусского хлеба я помню до сих пор: он был очень плотный, грубый, сытный и немного вязкий, похоже, не магазинный, а сделанный дома, в печи.

В Минске Джексон рассчитывал обнаружить на главпочтамте открытку от Криса, но ее там не оказалось. Дрон остался загорать на Гауе, значит, Джексону и дальше предстояло путешествовать одному. В Минске он никого не знал, не обзавелся ни одним адресом, и делать ему в этом сером, уныло заасфальтированном просторном городе было ровным счетом нечего. Скоро его накрыло с головой давно уже волочившееся за ним одиночество, граничившее на этих полупустых улицах и широких проспектах с чувством несуществования. Чем ярче заливало солнце минские асфальтовые поля, тем неуместнее и ненужнее он себе на них казался. Четкая тень, отбрасываемая им на стены и тротуары, выглядела достовернее его самого. Собрал вещи, оплатил номер (он переночевал в гостинице) и, с трудом преодолев искушение взять билет на поезд «Минск – Москва», вышел на шоссе, ведущее в сторону Кишинева.

В Кишиневе наконец встретились с Крисом. Кинулись обниматься так, точно были разлученными в детстве родными братьями, полжизни друг дружку искавшими. Джексон даже не представлял себе, что может кому-нибудь так обрадоваться. И кому?! Незамысловатому рок-н-рольщику Крису! Говорили, перебивая друг друга, торопясь вспомнить все пережитые в дороге приключения. Крис среди прочего рассказал, что пересекся по пути с Элисом и Танькой-Китайкой, они немного проехали вместе, но потом Танька и Элис поссорились, и она отправилась дальше на юг одна. Кстати, про тебя спрашивала. Джексон сделал вид, что его это совершенно не волнует.

Молдавия была благословенным краем. Здесь процветали колхозы-миллионеры. Едва выехав из Кишинева, Джексон и Крис оказались в их владениях. За высокими заборами стояли трех- и четырехэтажные дома, больше похожие на особняки или дворцы, украшенные крупным деревенским орнаментом. Через заборы свешивались ветви фруктовых деревьев, гнувшиеся под тяжестью плодов. Яблоки, груши, персики, сливы были такими большими, точно Джексон попал в страну великанов, и сами просились в руки, можно было рвать их, сколько душе угодно, никто не запрещал. Подвозили здесь легко, а потом еще зазывали в гости, хвастались перед близкими новыми друзьями из Москвы и норовили накормить до отвала, ставя к еде на стол домашнее белое вино, которое делали почти в каждом дворе. Попробовав его в первый раз, Крис исполнился такого энтузиазма, что провозгласил:

– Больше ни копейки не тратим на жратву, все деньги – только на *дринчи*!

Каждый вечер они покупали за полтора, от силы 2 рубля трехлитровую банку белого и тут же, передавая из рук в руки, выпивали ее в мутных августовских сумерках, вдумчиво сравнивая сегодняшнее вино со вчерашним и позавчерашним. Потом брели к выходу из селения и заваливались спать на обочине, кинув спальники в стрекочущую траву, колышущуюся под теплым ветром. Ставить палатку было лень. Это был рай, а в раю не нужны ни крыша над головой, ни стены.

Переезд из Молдавии в Украину ознаменовался переходом от белого вина к красному. Оно стоило чуть дороже, примерно рубль за литр, зато на Каролина-Бугазе, где остановились под Одессой, его покупали уже ведрами. Правда, не на двоих, а на целую компанию. Вдоль побережья лимана протянулся палаточный лагерь, на отшибе которого приютилось несколько хипповских палаток. Здесь жили в основном хипаны из Украины, местные из Одессы или из Киева, Харькова или Львова, но было и несколько приезжих из Прибалтики, а еще, кажется, с Урала, из Свердловска, а может, Перми. Никакого значения тому, кто откуда, тогда не придавалось, все были из одной страны, из одной *системы*. Просыпались поздно, к полудню, лениво брели купаться. Приходилось долго идти по колена в мелкой теплой воде, прежде чем началась глубина, где можно было плавать. Потом раскуривали косяк-другой и завтракали, если было чем. После завтрака Джексон укладывался за привезенный с собой пухлый том «Девушек в цвету» – под травой Пруст шел отлично. Ближе к вечеру отправлялись в соседний поселок за едой и вином, после ужина снова купались в светящейся воде – в августе море вдоль лимана зацветало и ночью окружало пловца трепещущим изумрудным скафандром.

Все было замечательно, пока не приехала пара из Питера и не привезла с собой ПСП – так назывался самодельный отечественный аналог ЛСД. Ходили слухи, что умельцы изготавливают его из таблеток от внутриматочного кровотечения. Каждый желающий получил по пропитанной веществом бумажке размером с почтовую марку – ее так и называли *марочкой* – нужно было положить ее в рот и сосать. Она была горькой, гортань немела, как от холодка, действие начиналось минут через сорок. Снова, как при уколе *ханки*, это было похоже на стартующий внутри мотоцикл, но теперь скорость его была в разы больше, сознание не покидало тело, но существовало в нем на таких сверхмощных оборотах, что тело делалось ему совершенно чужим, казалось грудой бесполезного хлама. Джексон почувствовал, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой – просто не способен сосредоточиться на том, чтобы заставить себя сделать хотя бы небольшое движение. Укусил себя за губу и не испытал боли. Сделалось тревожно, потом жутко: все-таки тело было таким привычным – что если он никогда больше не сможет управлять им?!

Прочие хиппи разожгли на берегу костер и плясали вокруг него, Крис терзал гитару и пел истошным голосом на дурном английском какую-то дикую песню, десятки раз повторяя один и тот же припев. Джексон не мог больше это слышать, но и уйти, уползти куда-нибудь, где было бы тихо, тоже не мог. Глазам было больно смотреть на пламя, но и отвести их не получалось – огонь гипнотизировал его. И он был один, совершенно один – другим не было до него никакого дела.

– Что, худо тебе? – говорю я ему. – Страшно? Одиноко? Боишься съехать с катушек?

– Боюсь, – даже в мыслях его голос звучит придавленно. – Этого я боюсь больше всего.

Он выглядит таким потерянным, скорчившись в сумерках на холодном песке, что я не могу не пожалеть его:

– Не бойся, все обойдется. Твое будущее мне известно, ничего с твоим рассудком не случится, каким бы опытам ты ни подвергал его, сейчас или потом. А к одиночеству привыкай. Если ты решил двигаться по двум колеям одновременно, как ты мне говорил, то своим ты не будешь ни в той, ни в другой. Так что вряд ли ты сможешь когда-нибудь от него избавиться.

Слышу, как он стонет, мысленно, но все равно громко. Он все сейчас воспринимает обостренно и преувеличенно. Ничего, придет время, привыкнет, никуда не денется. Джексон снова кусает нижнюю губу, сильнее, чем в первый раз, до крови, и наконец чувствует боль, приносящую облегчение, уменьшая боль от одиночества. Он даже улыбается, слизывая кровь языком. И видит, что к нему идет Танька-Китайка. Точнее, приближается ее силуэт на фоне костра. Ему говорили, что она была на Каролина-Бугазе и отправилась дальше в Крым за несколько дней до их приезда. «Наверное, забыла что-нибудь и вернулась», – думает Джексон. От мысли о ней в теле появляется теплота, и оно перестает быть чужим, странное онемение

начинает проходить. Но это не Танька, а другая девушка, решившая узнать, что с ним происходит, почему он лежит на песке в стороне от всех. От разочарования Джексон даже не хочет ей отвечать. Она рассеянно гладит его волосы. Потом спрашивает:

– Как ты? У тебя глаза совсем стеклянные и зрачки расширены.

– Ничего, ничего. Со мной все хорошо. Ты иди.

Девушка уходит, Джексон даже не смотрит ей вслед – ему уже не до нее. Он наблюдает, как сгустившаяся над морем темнота колыхается, пульсирует, из нее начинают выступать и вновь растворяться озаренные снизу костром громадные неясные фигуры. В огонь подбрасывают еще дров, он становится выше, и хиппи начинают с воплями скакать через него. Их длинные волосы развеваются над пламенем, они пролетают сквозь него с искаженными криком лицами, похожие на бесов, на одной девушке загорается платье, она с визгом падает на песок, двое парней прыгают на нее сверху – это, конечно, шабаш, настоящий бесовский шабаш.

– Неужели я с ними? – изумленно думает Джексон. – Я один из них?

– Нет, ты не с ними, – отвечаю ему я. – Но и ни с кем. Тем хуже для тебя. Ты хотел свободы – вот она, твоя свобода. И никуда тебе от нее не деться.

– А этот огонь – для чего столько огня?

Джексон видит, как языки пламени заслоняют светящиеся окна зданий на противоположном лиману берегу, который кажется весь поглощенным гигантским костром.

– Не знаю, тебе виднее: ты же принял ПСП, не я. Смысл психоделики ведь не в кайфе, а в том, чтобы расширить сознание до восприятия того, что Хаксли называет *mind at large*¹ – хранящейся неведомо где информации о настоящем, прошлом и будущем. А в том, что она существует, у меня нет сомнений. Так что не исключено, что в этом огне ты видишь всполохи тех войн, которые совсем скоро запыхают по всем окраинам твоей страны: в Карабахе, Грузии, Осетии, Приднестровье, Таджикистане – всех не перечислить. А может, это отсвет совсем близкого пожара в одесском Доме профсоюзов, где заживо сгорят в 2014-м почти пятьдесят человек – пожара, который навсегда превратит Одессу из города весельчаков и жизнелюбцев в город массового человекоубийства.

Джексон мотает головой из стороны в сторону и мычит что-то невнятное, в чем можно расслышать: «Не хочу-у-у-у...» Он лежит на песке, и костер, на который он смотрит снизу, кажется ему охватившим полнеба. Он закрывает глаза, чтобы не видеть языков пламени и пляшущих над ними гигантских бесформенных фигур ночи (может быть, думаю я теперь, это были тени танцующих вокруг костра хипанов, отброшенные в черное небо?) Постепенно Джексон погружается в вязкое оцепенение полусна, как будто одним глазом спит, а другим наблюдает за собой спящим. Но огонь проникает ему под веки, наполняет голову своим гулом и поджигает образы полусна, превращая его в пылающий кошмар, полный рушащихся зданий, падающих самолетов, сходящих с рельсов поездов и безумных человеческих толп, спасающихся бегством...

Через неделю они с Крисом были уже в Крыму. Самым популярным у хиппи местом в Крыму был Гурзуф, где они расположились вдоль аллеи, ведущей к разливочным автоматам. Замечательные эти автоматы походили внешне на автоматы газированной воды, но, если бросить в них монету, наливали не газировку, а сухое вино. По обе стороны аллеи на грязных одеялах валялись раскисшие от жары постоянно пьяные хиппи. Джексон проходил мимо, исподволь глядя по сторонам, надеясь и боясь найти в этом волосатом человеческом месиве Таньку-Китайку. Не найдя, вздохнул с облегчением. Он увидел ее позже в длинной очереди в столовую, конечно, не одну, а сразу с тремя парнями разной степени волосатости. Тут же вышел из

¹ Разум в целом (*англ.*) – концепция, предложенная Олдосом Хаксли для интерпретации психоделического опыта. – *Примеч. ред.*

очереди, сказав Крису, что столовая ему не нравится, вся еда в мухах, да и стоять придется столько, что они доберутся до раздачи только к ужину. Позже, вечером, он встретил Таньку одну на набережной, идущую в купальнике от моря с полотенцем на шее. Теперь уже было не разойтись, не притвориться, что не заметил или не узнал. Джексон тоже был один, и Танька с ходу бросилась ему на шею:

– Приве-е-ет! Я знала, что мы встретимся.

– Я тоже знал, – ошеломленно пробормотал Джексон. – Здесь ведь все встречаются...

Чем сильнее ждешь встречи, тем больше растерянность, когда она, в конце концов, происходит. Китайка была такой, какой он вспоминал ее все это время после Гауи, и все-таки другой, в чем-то изменившейся: то ли загорела сильнее, то ли волосы выгорели, то ли похудела еще больше. Чтобы понять, что в ней изменилось, нужно было рассмотреть ее со стороны, но она сразу прижалась к Джексону так тесно, что у него не осталось на это шансов. От ее мокрого купальника на его футболке возникли два темных влажных пятна. Купили в киоске мороженое, и за поеданием эскимо Танька рассказала ему, как достал ее Элис, как они поссорились и он бросил ее посреди дороги.

– Да и вообще он давно уже мне надоел. Я ведь тогда, на Гауе, все это для тебя затеяла – думала, ты придешь. А ты не пришел... Почему?

– Не знаю... – только и смог выдавить из себя Джексон. – Многовато вас там было в моей палатке...

– Ну и что?! – Китайка пожалала плечами – для нее в этом не было ровно ничего особенного.

Теперь ей надо было идти – успеть до закрытия в аптеку и еще по каким-то своим делам. Перед уходом она оставила Джексону адрес, где остановилась, и насмешливо заверила:

– Теперь я одна, можешь не сомневаться. Придешь?

В ее как всегда прищуренных глазах Джексон прочитал продолжение вопроса: или опять струсил? И очень серьезно кивнул. Она рассмеялась его серьезности, бегло погладила по щеке напоследок и была такова.

– Не вздумай! – спешу вмешаться я, едва Китайка уходит. – Ты что, не видишь, что это за штучка?! Ты для нее на один зуб, не больше! Только вспомни ее глаза бесстыжие! И эту ее улыбочку! У нее таких, как ты, было столько, что не сосчитать! Проглотит и не подавится.

Он чувствует, что я прав, но соглашаться не хочет:

– Ты мне просто завидуешь. И наговариваешь на нее почем зря.

– Я? Завидую? Да я же знаю наперед все, что будет! Она ж бросит тебя с первым попавшимся длинноволосым грязнулей с гитарой. Ты будешь выть и корчиться от боли! Помяни мое слово...

– Все равно завидуешь! – не сдается Джексон. – Все равно! И даже если я буду, как ты говоришь, выть и корчиться от боли – ты и этому будешь завидовать!

– Много ты понимаешь, щенок! – выхожу я из себя, потому что он наступил на большую мозоль и с молодой беззастенчивостью топчется на ней. – Да беги за ней, беги! Волочись хвостом за этой паршивкой. А я посмеюсь, когда она будет предавать тебя направо и налево.

– И побегу! Не нужно мне твоего знания наперед, старый зануда! Плевать я на него хотел! А она мне нужна! Она, а не ты – понял?

Прекрасно я все понял, чего уж тут не понять. Прекрасно мне известно, что отговаривать его бесполезно, все мои попытки курам на смех, он придет этой ночью к Таньке-Китайке, и это будет так хорошо и так непохоже на все, что он себе представлял, что каждый всхлип, и стон, и впившиеся в спину ногти этой маленькой сучки я буду помнить тридцать пять лет спустя, и от одной мысли о ней крупные мурашки будут шевелить последние волосы на моей лысеющей голове. Известно мне и то, что будет с Джексоном и Танькой потом, когда они вернутся из Крыма в Москву (в точности то, что я ему предрек), и что случится со всеми его друзьями и

спутниками: кто из них умрет от гепатита, кто от передоза, кого посадят, кто сойдет с ума, кто уедет на Запад, чтобы сгинуть там без следа, кто сам вскрыет себе от тоски вены в грязном парадняке, а кто, вопреки всему, доживет до наших дней. Но что толку в этом знании, когда все это теперь прошлое, в котором ничего не изменишь?

Сеня

Затея была определенно дурацкой, Инне было с самого начала ясно, что ничего хорошего из этой поездки в деревню не выйдет. И не потому, что там не могло с незапамятных времен завалиться в сарае старых рам для картин, которые бы ей оченьгодились, – она училась в Строгановке, многие преподаватели отмечали ее способности, – а потому, что предложение отправиться за ними исходило от ее однокурсника Сени Сеницына, которого она за годы учебы узнала достаточно, чтобы не сомневаться, что любая его затея пойдет вкривь и вкось и ничего путного никогда из нее не получится. Якобы в этой деревне прожил свои последние годы Сенин прадед, художник-любитель, от него и остались рамы, сваленные после его смерти в сарай. Прежде чем тащить их в Москву, нужно было съездить взглянуть на них, чтобы убедиться, что овчинка стоит выделки. Сеня нудил про рамы уже давно, она на словах соглашалась поехать с ним и тут же об этом забывала, хватало ей других забот; это могло длиться бесконечно, и причиной того, что в пасмурный выходной конца марта они все-таки сели в электричку, были вовсе не Сенины уговоры. Причиной был Вадим, обещавший провести с ней эти выходные, но в последний момент взявший свои слова обратно на том основании, что заболел, лежит с температурой его сын, и он не может в такой ситуации оставить семью. Инна была в ярости, не знала, верить ему или нет, да это было и не важно – важно было только то, что Вадим будет со своей старой, на десять лет старше Инны, женой, а она снова будет одна, не считая как обычно ходящего за ней хвостом Сени Сеницына, которого она не принимала в расчет, но, когда он опять завел про рамы, со злости бросила ему: «Едем! Сегодня, сейчас! Ну, что ты встал?! Давай, узнавай расписание!»

В тот день подходящего поезда, чтобы останавливался в такой тьмутаракани, не нашлось, поехали на следующий. Он выдался ветреным, промозглым и каким-то расхристанным, бес-толковым: сперва никак не могли найти нужную электричку, у кого ни спрашивали, никто не мог им подсказать, наоборот, встречные сами пытались что-нибудь у них узнать, потерянных людей носило по перронам порывами сырого ветра. Когда наконец сели, оказалось, что не в ту, насилу успели выскочить, едва не упустили свою. Инну это раздражало, но не удивляло: с Сеней всегда было так.

Сидя напротив него у замызанного окна полупустого вагона, она мысленно сравнивала его с Вадимом. Тот был ниже ростом, но шире в плечах, коренастей, с пружинистой силой в каждом уверенном движении, не то чтобы красавец, но из тех, кто нравится женщинам, сразу чующим эту силу, – Инна уже научилась разбираться в таких вещах – недаром жена вцепилась в него мертвой хваткой и готова была все ему прощать. Как художница Инна видела в его внешности недостатки, скажем, слишком крупный мясистый рот, но она была не только художницей, и внешность не была для нее самым важным. Гораздо важнее была зрелость, очевидная в любом жесте, взгляде, поступке Вадима, в том, как он курил, говорил, молчал, водил машину, как он глядел на нее, прикасался к ней. Как он брал ее – как то, что, несмотря на семью, принадлежит ему по праву. Хотя Инне на многое хотелось ему возразить, но, когда она ловила на себе его взгляд и вдыхала его запах – Вадим всегда прекрасно пах импортной туалетной водой, всякое желание возражать у нее пропадало. Зрелость была для нее синонимом подлинного, настоящего, а подлинность обеспечивала соответствие занятому в жизни месту, позволявшему иметь, что имеешь, как свое, не испытывая никаких сомнений. Так точно она это для себя не формулировала, но все эти самые важные вещи – зрелость, подлинность, соответствие своему месту – сливались для нее в запахе туалетной воды, хороших сигарет, в аромате в салоне машины Вадима. Машина была недешевой иномаркой, что, безусловно, вносило заметный вклад в зрелость ее владельца.

И, конечно, зрелость была тем, что нагляднее всего отличало Вадима от Сени, которому, совершенно очевидно, было не видать ее как своих ушей. И дело было не в двенадцати годах возрастной разницы – Инне было ясно, что Сенина незрелость неизлечима, как хроническая болезнь, это его пожизненный диагноз и через двенадцать лет он останется точно таким же Сеней, как сейчас, отворачивающимся, чтобы не встретиться с ней взглядом, к окну поезда и грызущим заусенцы на пальцах. Так же будут торчать ключьями в стороны его непричесанные и явно давно не мытые волосы, так же неровно расти плохо выбритая щетина на прыщавых щеках и подбородке, так же будет он кусать губы и теревить пальцами с обкусанными ногтями свисающие с заношенного свитера нитки. И такой же, была уверена Инна, останется угрюмая Сенина влюбленность в нее, никуда не денется облизывающий ее с ног до головы умоляющий собачий взгляд, всегдашняя готовность исполнить любую ее просьбу, которой она охотно пользовалась – зачем добру зря пропадать? Инна давно привыкла к этой влюбленности, почти не обращала на нее внимания, в их отношениях ничего не менялось, хотя Сеня вполне мог закатить ей сцену или даже настоящую истерику, хлопнуть дверью, на что-нибудь вдруг обидевшись, но очень скоро возвращался, будто ничего не случилось, вновь готовый служить ей за одну только возможность быть рядом, глядеть на нее своими большими карими глазами с запекшимися в них тоской и желанием. Это однообразное, направленное на нее желание было накалено уже до такой степени, что, похоже, стало самодостаточным и в реальной Инне больше не нуждалось, во всяком случае, когда они как-то заночевали в одной комнате после вечеринки на квартире знакомого, Сеня почти не приставал к ней и простого «убери руки, спи» хватило, чтобы он утомился и в самом деле уснул. (Инна тогда удивилась и даже была немного разочарована.) Руки свои, длинные и худые, Сеня вечно не знал куда деть, за разговором прятал то по карманам, то за спину, как улики преступления, Инна не сомневалась, что они регулярно доставляют ему то удовольствие, которое он мечтал получить от нее. Однажды им задали в институте нарисовать автопортрет, и то, что получилось у Сени, вышло больше похожим на Инну, чем на него, это заметили все в их группе. Случается, что муж с женой от долгой совместной жизни делают похожими друг на друга, а Сеня, очевидно, так давно уже жил с Инной в своем воображении, что это привело к такому же результату на холсте. При этом сам он ухитрился никакого сходства не заметить и не понимал, отчего над ним смеялись, отвечая на насмешки своей неизменной ухмылкой, которая и так не сходила у него с лица, будучи его единственной защитой, словно он раз и навсегда решил считать мир дурной шуткой, наотрез отказавшись воспринимать его всерьез. С той же ухмылкой относился Сеня к большинству преподавателей, хотя среди них были признанные мастера. Инну это бесило: она видела в его насмешливости неизжитое подростковое высокомерие, верный признак все той же незрелости. Но для Сени все институтские профессора были людьми вчерашнего дня, а все, чему они могли научить – давно устаревшим и бесполезным. Он вообще жил одной ногой в будущем, которое надвигалось широким фронтом и должно было вот-вот наступить, а может быть, уже наступило, только никто пока не видел его, кроме него, Сени Синицына. Все были слепы и глухи, один Сеня прозревал грядущее под покровом настоящего, бывшего для него уже прошлым, обреченным на слом. В этом никчемном настоящем Сеня ненадежно балансировал на одной оставшейся свободной ноге, возможно, поэтому у него была такая болтающаяся походка – часто его движения напоминали Инне марионетку, чьи нитки провисли, а некоторые перепутались. Волочась этой своей походкой за ней следом после института, Сеня не раз порывался раскрыть ей глаза на свое видение завтрашнего дня, и тогда звучали такие слова, как «планетарное сознание», «третья технологическая революция», «смена парадигм», «новый мировой порядок» и другие, еще более неопределенные. Сеня говорил всегда взалхлеб, сбивчиво и невнятно, так что, сколько бы Инна ни старалась удержать нить, рано или поздно она ее теряла, отвлекшись на что-нибудь более понятное, вроде красивых витрин или интерес-

ных встречных мужчин. Иногда, устав слушать, она начинала возражать, наугад зацепившись за случайно подхваченное выражение.

– Что еще за общество на новых основах? Основа общества – люди, а они какими были, такими и останутся, не тебе их менять.

– Люди сами не знают, какие они! Никто о себе до конца ничего не знает! Измени общество – и люди изменятся!

– Как же! Мало, что ли, меняли? Всегда только к худшему.

– Ты не понимаешь! – Сеня хватался пальцами за виски, точно ее непонимание вызывало у него приступ головной боли. – Не понимаешь!

На глазах у него выступали слезы, похоже, от Инниного нежелания или неспособности его понять он готов был расплакаться. А она недоумевала, с чего он вообще взял, что она должна его понимать? Почему из того, что она недурно рисовала – Сеня был убежден, что она рисует гениально, лучше всех на курсе, и без конца твердил ей об этом, – почему из этого следует, что она должна разбираться в его нескончаемой невнятице, сегодня одной, завтра другой? Конечно, если рисуешь ты средне и вообще ничего у тебя толком не получается, все валится из рук оттого, что эти руки слишком часто заняты тем, чем не надо, тебе больше ничего не остается, как объявить себя провозвестником грядущего, – но ей-то это к чему? Инна в грош не ставила Сенины предсказания, и только иногда, когда он сбивался и умолкал посередине очередного монолога, она замечала в его глазах тревожную растерянность, чуть ли не панику, будто он сам пугался того, о чем говорил, и эта внезапная пауза гораздо больше, чем слова, вызывала у нее подозрение, что, может, и там, в словах, в невнятных Сениных пророчествах, что-то есть. Но Сеня, собравшись с мыслями, вновь продолжал говорить, и скоро Инна об этом подозрении забывала.

За окнами поезда проносились, скользя прочь по серому льду и асфальту, деревни с темными от сырости домами за мокрыми заборами, по вагону шли друг за другом то «люди неместные» с фотографиями больных страшными болезнями родственников, то продавцы всякой всячины, вроде ручек с бесконечными стержнями или стирающих любую грязь пятновыводителей, за ними, терзая гитару и толкая впереди безногого на коляске, брели ветераны не то Афгана, не то Чечни, а скорее всего, просто ханыги, раздобывшие камуфляжную форму. Пройдя один раз, они через некоторое время возникли снова, инвалид успел уснуть и свисал с коляски мешком, но даже песня была та же, будто они только одну и знали. «Смешно верить, что здесь что-то может измениться», – подумала Инна, – какая еще «смена парадигм»?!»

– Долго нам еще тащиться?

Сеня пожал плечами с таким виноватым видом, будто на нем лежала вся ответственность за дальний путь, унылые виды за окном, за всех этих темных людей, идущих по вагонам.

Сошли на безлюдной станции, и Сеня отправился искать машину – до деревни, где стоял дом его прадеда, был еще почти час езды по разбитым дорогам. Найденный водитель предупредил, что, если дорога окажется совсем непроезжей, придется им идти пешком, он ради них гробить свою машину не собирается. Инна промолчала, но вздохнула так, чтобы у Сени не осталось сомнений, что непроезжие дороги – тоже его вина. Как были его виной и скривившееся, с провалившимися ступенями крыльцо прадедова дома, когда они наконец до него добрались, и мертвецкий холод полутемных комнат с бликующими зеркалами, и гуляющие по комнатам сквозняки. Последней в доме жила Сенина сестра, но с тех пор, как она три года назад уехала в Германию, он пустовал, жизнь вымерзла из него за долгие зимы, вещи забыли о своей принадлежности человеку, на всем лежал ощутимый налет напрасности существования, разве что мыши пользовались из года в год этими стульями, кроватями и шкафами, оставляя повсюду в знак благодарности катышки своего помета.

– Ничего, сейчас печь растопим, – бодрился Сеня, – и все будет в лучшем виде. На# пока хлебни, согреешься.

Он достал из рюкзака и поставил на стол бутылку красного, сыр и копченую колбасу на закуску. «Надо же, приготовился», – подумала Инна. Она села в кресло, накрылась пледом. Ей даже шевелиться здесь не хотелось. По стенам висели работы Сениного прадеда, едва различимые в темном помещении. Сеня зажег свет, но абажур под потолком был таким пыльным, что свет едва через него пробивался. Подойти и взглянуть Инну не тянуло, было чувство, что как этот дом жил без людей своей жизнью, так и картины прекрасно обходятся без зрителя. Да она и издали видела, что рассматривать там нечего, обычные дилетантские пейзажи и натюрморты, мертвая природа в мертвом, остывшем доме.

Сеня между тем делал что мог, чтобы оживить затхлую пустоту комнат: громыхал дверями, топал, издавал вдвое больше звуков, чем нужно, точно надеялся разбудить дом, даже разговаривал сам с собой, подбадривая себя, потому что ни дом, ни Инна ему не отвечали. Принесенные им с улицы дрова были сырыми и долго не желали гореть, Сеня так хотел поскорее затопить, что, не найдя под рукой бумаги, стал вырывать листы из своего альбома с набросками и совать их в печь.

– Ну гори же! Давай, гори! Гори, твою мать!

– Не жалко?

– Да мура это все! Было бы чего жалеть! В печи им самое место.

Рядом с Инной, превозносимой им до небес, Сеня себя художником вообще не считал и давно решил, что поступление в Строгановку было ошибкой, нужно было идти на исторический или философский. Печь он в конце концов растопил, но напустил в комнату дыма и в этом дыму, опьянев с первых же глотков, принялся описывать Инне контуры грядущего миропорядка, так сильно размахивая при этом руками, что едва не выплеснул на нее остатки вина из стакана, который забыл поставить на стол. Инна слушала его вполуха, наблюдая, как мечутся по стене тени Сениных рук, – это было ей куда интересней. Выпив еще, они согрелись и пошли в сарай посмотреть рамы.

Сарай был весь завален древней рухлядью: ржавыми велосипедами, раскладными креслами, поломанной мебелью – его недра, куда не достигал свет голой лампочки над входом, терялись в доисторическом мраке. Бесстрашно нырнув в этот мрак, Сеня какое-то время громыхал там так, что Инне стало страшно за его жизнь, но он выбрался обратно невредимым, правда, так и не найдя рам, зато зачем-то напялив извлеченный из завалов шлем мотоциклиста, а Инне предложил широкополую мятую шляпу с цветами и лентами. Рамы отыскились за холодильником «ЗИЛ», они стояли у стены, накрытые покрывалами. Некоторые были совсем негодными, рассохшимися, с облупившейся краской, другие выглядели еще вполне прилично. Самые лучшие, богато изукрашенные резными гирляндами и завитками, Сеня ставил перед Инной и, отступив на шаг, любовался ею как картиной, она подыгрывала, изображая то Маху Гойи, то врубелевскую цыганку, то еще кого-нибудь из классики, Сеня хохотал и безудержно восторгался, а потом на пике восторга вдруг осекся, шагнул в сторону, поменял угол взгляда и сказал:

– Знаешь что? Выходи за меня, а? В смысле замуж.

Он произнес это раньше, чем перестал смеяться, так что Инне ничего не оставалось, как ответить:

– Шутишь?

Она ждала, что рано или поздно от Сени это услышит, но в заваленном хламом по самую крышу сарае его слова прозвучали уж очень некстати, невозможно было принять их всерьез. Сеня с его неизменной ухмылкой и вообще не умел быть всерьез, сколько ни старался.

– Абсолютно не шучу.

– Нет, ну ты что... Ты за этим, что ли, меня сюда приволок?

– Нет, не за этим. Мы же рамы приехали смотреть. Но и за этим тоже. Я давно хотел тебе сказать, случая не подворачивалось. В городе же то одно, то другое, как-то повода не было. Я решил, как поедем, так обязательно скажу.

Сеня отодвинул и поставил к стене разделявшую их тяжелую барочную раму – шутки в сторону, игра окончена.

– Вот и сказал. Теперь тебе решать.

Вернулись в дом посерьезневшие (Инна через силу, сколько ни пыталась себя заставить, не могла отнестись к Сениному предложению так, как оно того от нее требовало), почти протрезвевшие, отдалившись друг от друга, кажется, даже слегка испуганные. Чтобы справиться с неловкостью, Сеня разлил оставшееся вино и достал из рюкзака новую бутылку.

– Ну, за нас!

Инна чокнулась с ним, но тут же, чтобы он не принял это за обещание согласия, сказала:

– Только я замуж вовсе не собиралась. С чего это вдруг?

– Да ты что?! Ты что, не понимаешь, что потом будет поздно? Скоро наступят такие времена, что нам нужно быть вместе. Обязательно вместе, одна ты пропадешь. Ты уже и сейчас шагу без меня ступить не можешь – я имею в виду правильного шага, в нужном направлении.

Это ее так рассмешило, что она чуть не прыснула, едва сдержалась. Сеня, спотыкающийся на ровном месте Сеня, считал себя ее защитником! Он не раз говорил ей, что чем человек талантливее, чем он беззащитнее, а поскольку Инна рисует как никто... Но тут он ошибался – она отлично знала, что стоит на ногах гораздо тверже него. И в практической жизни разбирается гораздо лучше.

– Понимаешь ли, Сеня...

Когда она называла его по имени, это всегда звучало иронически и не сулило ему ничего хорошего, поэтому он поспешно ее прервал:

– погоди, погоди, я еще не все сказал. Я не сказал самого главного. Я же все продумал!

Оказывается, у него был готов подробный план их совместной жизни: она будет заниматься только живописью, а он станет работать, чтобы она ни в чем не нуждалась, одновременно будет писать искусствоведческие статьи, пока до людей не дойдет ее гениальность...

– Понимаешь ли, Сеня...

Нет, это еще не все! Еще не все! В его планы входило открытие галереи, приглашение важных людей, от которых зависит успех, знакомство с журналистами, у него уже есть связи в этой среде...

– Понимаешь ли, все это прекрасно, но ты не учел одной-единственной небольшой вещи, – она испытывала удовольствие от того, что будущее, которым Сеня всегда козырял, сейчас зависело от нее, – чтобы выйти за тебя замуж, я должна тебя любить.

Он поглядел на нее так, точно впервые увидел:

– А ты... Разве нет?

Инна пожала плечами.

– Извини.

– Да нет же! – Сеня заговорил быстрее, спеша засыпать словами разверзающийся провал очевидности. – У меня же нет никого ближе тебя, а у тебя ближе меня! Ты просто так привыкла ко мне, что сама не замечаешь... Ты думаешь, что любовь – это что-то такое особенное, что-то необыкновенное, а это...

– Извини...

Безупречно продуманный план рушился на глазах – и из-за чего?! Из-за такой банальности! Сеня налил стакан до краев и одним махом выпил.

– Нет, ты просто сама еще не осознала. Тебе нужно подумать. Ты подумаешь и поймешь.

– Да не нужно мне думать. О чем тут думать? Извини...

Она смотрела на него прямо и ясно, как умела смотреть, был убежден Сеня, она одна, обладательница лучшего рисунка и самой легкой линии на курсе, да что там на курсе – во всем институте, во всем мире! И этой своей легкой линией она, не моргнув глазом, ставила на нем крест. Это было невыносимо.

– Не о чем мне думать, Сеня, – повторила Инна. Она чувствовала, что ему больно, и хотела быстрее поставить точку и закончить с этим. Но, назвав по имени, она ненароком натолкнула его на верную мысль.

– Ты не принимаешь меня всерьез, вот в чем все дело! Ты мне не веришь! Ты думаешь, я так... Думаешь, я просто так...

Он хотел налить вина в стакан, но передумал и принялся хлестать из горла.

– Прекрати пить! Что мне с тобой делать, если ты напьешься?

Он не услышал ее слов, а может, услышал, но назло ей вылакал бутылку до дна. Красное вино стекало по подбородку на синий Сенин свитер, расплываясь на нем растущим черным пятном.

– А я не просто так! Ты увидишь! Ты убедишься! Раз ты так... Раз ты меня не любишь, зачем тогда всё?

Нелепой походкой Сеня подошел на почти прямых ногах к кровати и, продолжая бормотать, что он не просто так, стал рыться на висящей над ней полке, где стояли лекарства. Они посыпались вниз, покатались по полу, наконец Сеня нашел, что искал, и с нескрываемым торжеством показал Инне большой пузырек феназепама.

– Раз ты так, то мне и жить незачем. Выпью и всё. И никаких проблем. Элементарно. Думаешь, опять шучу?

Инна не ответила. Угроза самоубийством была для нее запрещенным приемом, нарушающим правила игры так грубо, что она сразу из игры выбывала, и все дальнейшее уже не имело к ней отношения. Человек, шантажирующий ее самоубийством, был для нее как сумасшедший, с ним не могло быть общего языка. Все, что имело для Инны значение, принадлежало той жизни, которую этот человек отталкивал, одним этим намерением становясь вне ее, так что и говорить с ним было не о чем.

Сеня подошел к раковине, налил полный стакан, возвращаясь к столу, расплескал половину, улыбнулся пьяной заискивающей улыбкой. «Сейчас подмигнет», – успела подумать Инна за секунду до того, как он подмигнул.

– Ка-а-анечно, шучу, – язык Сени уже заплетался. – Это моя последняя шутка. Не пере-думаешь?

– Перестань валять дурака, – ответила Инна чужими бесцветными словами. Ей было их стыдно, но своих слов в этой ситуации у нее быть не могло.

– Тогда смотри. Один раз показываю.

Запрокинул голову, высипал в рот содержимое пузырька, запил, поперхнулся, несколько таблеток вывалилось изо рта, но остальные, давясь, с трудом проглотил. Инна наблюдала за Сениными действиями так, точно это было кино. Через несколько минут улыбка сползла с его лица, и она почувствовала, что в упор глядящие Сенины глаза ее не видят. Он начал крениваться со стула вбок, все ниже и ниже, но не падал. А когда все-таки стал падать, встряхнулся и выпрямился.

– Пойду прилягу, – сказал Сеня так, будто всего лишь устал и хочет отдохнуть. Поднялся, сделал несколько нетвердых шагов, но не к кровати, а зачем-то к двери. Открыв ее, шагнул в пролет, но промахнулся и, врезавшись лицом в косяк, рухнул на пол.

– Идиот!!! – истошно закричала Инна.

Но он ее уже не слышал.

Ну и что теперь делать? Ведь знала же, знала, что ничем хорошим эта поездка не кончится! А все равно поперлась в эту глушь. Во всем Вадим виноват, если бы он ее не обманул, никогда бы не поехала! Инне остро захотелось позвонить ему и заставить под предлогом случившегося бросить семью и приехать. Но это было глупо. Какое ему дело до Сени? Он только плечами пожмет: сам виноват, дуралей, хотел помереть, пусть помирает. Звонить надо было не Вадиму, а в скорую. Она достала из сумки мобильник, включила и убедилась, что он не подает признаков жизни: или сломался, или здесь нет связи. Ее это не удивило – даже наоборот, мелькнула мысль, что так и должно было случиться: с Сеней всегда так. Придется идти к соседям, просить их вызвать врача. Неизвестно еще, где эти соседи, в ближайших домах, видных ей из окна, было темно, там явно никого не было. Вот ведь влипла! Обернулась на Сению. Тот лежал, раскинувшись на полу в какой-то преувеличенно отчаянной позе, разбросав руки и ноги, как в прыжке. С расшибленного о косяк лба стекла, раздваиваясь вокруг глаза, струйка крови. Инна наклонилась, достала платок, стерла кровь и при этом впервые заметила, какой Сеня, в сущности, красивый. Они были так давно знакомы, что она не обращала на его внешность никакого внимания, привыкла к ней, а тут вдруг увидела свежими глазами и осознала внезапно, что он ведь и правда может умереть, чертов идиот, вот будет обидно! Наклонилась ниже, приложила ухо к груди, прислушалась – вроде дышит, но как-то слабо, нужно торопиться.

На улице была сырая мартовская темнота, такая безлюдная и чужая, что Инне сделалось жутко. Она миновала несколько наглухо запертых домов с черными окнами, и улица вывела ее на край поля, за которым виднелась придавленная тучами тусклая полоса, оставшаяся от заката. На ее фоне дрожали на ветру в бескрайней темной пустоте голые кусты и редкие далекие деревья. Вид этого поля, неизвестно зачем раскинувшегося насколько хватало глаз, заставил ее почувствовать такое одиночество, какого она не испытывала никогда в жизни. У Вадима была семья, у Сени была она, и только у нее никого не было! И даже Сеня, всегда, по крайней мере, бывший рядом, на которого она всегда могла положиться, теперь лежал на полу чужого дома и собирался умирать!

Наконец попался дом с голубым мерцающим светом в окне, очевидно, там смотрели телевизор. Не найдя в темноте звонка, Инна долго стучала во дверь, но никто не отпирал, видимо, телевизор работал громко и ее не слышали. Пришлось обойти дом и постучаться в окно. Занавеска отодвинулась, за стеклом возникло неясное лицо, Инна не поняла даже, мужское или женское, но через минуту ей открыл заспанный старик в кальсонах. Пока Инна рассказывала ему, что случилось, он глядел на нее, морщась и удивленно моргая. Похоже, он спал под включенный на полную громкость телевизор и спросонья услышанный Иннин рассказ не доходил до него. А может, он просто ее не слышал, потому что за спиной у него раздавались оглушительные телевизионные голоса, Инне было их не перекричать. Все-таки он пригласил ее внутрь, а там ей навстречу вышла пожилая женщина с более осмысленным лицом, она даже догадалась убавить звук. Обрадованная этим, Инна вновь начала рассказывать о наглотавшемся феназепаме друге, замечая в чертах женщины признаки понимания, удивления и даже сочувствия, но когда дело дошло до просьбы позвонить в скорую, потому что у Инны сломался мобильный, та сокрушенно вздохнула:

– Что ты, отсюда ты никуда не дозвонишься, эти игрушки, – она кивнула на мобильник, – никогда у нас не работали. Раньше был один телефон на всю деревню, на фонаре висел, но уже года два как сломался. Мы тут сами себе и скорая, и больница, и похоронная контора. Сами себя лечим, сами себя хороним. Идем, я тебя к Серафиме сведу, она скажет, что делать. Серафима Никитична знает.

Женщина быстро оделась, накинула платок и шагнула впереди Инны в ночь.

– Эта Серафима Никитична – она по каким болезням врач? – спросила Инна.

– По всем болезням.

– Как это? Разве такие врачи бывают?

– У нас бывают. У вас в городах, может, и нет, а у нас пожалуйста.

– Знахарка, что ли? – догадалась Инна.

– Можно и так сказать. Только мы нашей Серафиме больше, чем вашим городским врачам, доверяем. У нее и мать здесь лечила, и матери мать. Мы ее, считай, всю жизнь знаем. Что можно сделать, она сделает. А если ничего не поделаешь, то и скорая не поможет.

Серафима Никитична жила в дальнем конце деревни, минут через пятнадцать подошли к ее двухэтажному каменному дому со сплошным забором почти в человеческий рост – похоже, знахарское ремесло было прибыльным. Одно из окон переливалось отсветами с экрана. Здесь тоже смотрели телевизор, но стучать в стекло не пришлось, на воротах был звонок. Открывшая им еще не старая женщина была высокой, худой, со впалыми щеками сухого, бесцветного и, скорее, неприятного лица. Инна подумала, что она больше похожа на обычного врача или даже заведующую отделением больницы, чем на деревенскую знахарку. Правда, Инна не знала, как должна выглядеть знахарка, чтобы быть похожей на знахарку. Женщина, приведшая Инну, пересказала Серафиме Никитичне то, что от нее услышала, та больше ни о чем расспрашивать не стала.

На обратном пути, когда шли мимо поля, Инна заметила отсвет закатной полосы на лице Серафимы Никитичны. Подумала, что если бы взялась писать ее портрет, то непременно на фоне этого ночного поля: они подходили друг другу, в жестких чертах лица знахарки угадывались такие же пустота и холод. Портрет, наверное, вышел бы жутковатым, но сейчас ей было спокойней рядом с Серафимой Никитичной, она была благодарна, что та не задавала лишних вопросов, ни в чем ее не упрекала. Сама Инна уже винила себя в том, что даже не попыталась отнять у Сени снотворное, позволила ему выпить его у нее на глазах. Надо было хотя бы попробовать, может, и удалось бы. Но вся ситуация, все Сенины действия были настолько нелепы, что она до последней секунды не могла поверить, что это серьезно. Входить в дом Инне было страшно, вдруг он там уже мертвый, и она пропустила вперед обеих женщин.

Сеня лежал в той же позе, в какой Инна его оставила, и был, несомненно, жив – об этом свидетельствовал вырывающийся у него из груди негромкий прерывистый храп. Втроем они подняли его и положили на кровать, Серафима Никитична села рядом, пощупала у него пульс, отвернула веко, Инна увидела тускло отсвечивающий белок закатившегося глаза. Потом знахарка резко потянула Сеню на себя, чтобы посадить и снять с него свитер, вторая женщина стала ей помогать, поддерживая заваливающееся тело. Сеня был в их руках, как огромная беспомощная кукла, голова свесилась набок, из открытого рта вытекла темная жидкость, похожая на кровь, но, скорее всего, это было вино. Нужно было его вытереть, но Инна не могла заставить себя протянуть руку: пока Сеня был во власти двух женщин, она не решалась вмешиваться, могла только оторопело наблюдать. Сняв свитер, знахарка послушала сердце, потом долго щупала и давила Сенин живот. Инна пыталась понять по ее сосредоточенному лицу, есть ли у Сени шанс проснуться, но оно ничего не выражало – ни подсказки, ни даже намека. После очередного нажатия на живот Сеня издал странный звук, будто рыгнул, а потом, не открывая глаз, невнятно забормотал. Инне удалось расслышать всего несколько слов, что-то вроде: «Сейчас, сейчас... иду... где дверь?» Серафима Никитична была, похоже, этим удовлетворена, потому что оставила Сеню и молча поглядела на Инну.

– Ну что, – поспешно спросила та. – Что с ним будет?

– Не знаю, – знахарка с минуту пристально вглядывалась в Инну, будто именно от нее зависело, что будет. – Парень молодой, может, отлежится. А может, приберет его Господь, наперед тут не угадаешь. Ты с ним будь, держи его, сможешь удержать, все у вас хорошо будет. Он сейчас вдоль смерти идет, куда свернет, так и выйдет. Может, пройдет мимо, может, нет, главное, ты его не отпускай, поняла? А я пойду, травку заварю, будешь давать ему, как скажу.

Инна кивнула, потом все-таки решилась спросить:

– Как это не отпустить?

– Да как хочешь. Хочешь, за руку держи, хочешь еще как-нибудь, главное, чтобы он знал, что ты с ним, думаешь о нем, ждешь, чтоб проснулся.

– Откуда ему знать, что я о нем думаю, он же спит?

– Он сейчас все знает, – уверенно ответила знахарка. – Пойдем мы. Если что, где я живу, помнишь.

Женщины были уже на пороге, когда у Инны чуть не вырвалось: «Не уходите! Как же я здесь одна?!» Но промолчала, и они ушли.

Тишина дома накрыла ее. Сеня прекратил храпеть, но тишина была такой, что в ней было слышно его сиплое дыхание. Что-то шелкнуло в печке, там догорал разведенный Сеней огонь. Инна открыла печную дверцу и подкинула еще пару поленьев, оставшихся от принесенной Сеней охапки. С огнем ей было хоть немного менее одиноко. Все-таки кто-то почти живой рядом. Раскинувшийся на кровати Сеня тоже был рядом, но огонь был определенно живее. И он был весь здесь – в доме, в печи, – тогда как Сеня был здесь, но в то же время совершенно непонятно где: шел вдоль смерти, как сказала Серафима Никитична. Что это значит? Как это – идти вдоль смерти? Инна попыталась представить пространство, где находился сейчас Сеня, разделительную полосу между жизнью и смертью, по которой он брел, но ее воображение, обычно яркое и сильное, ничего не смогло ей подсказать. Бесполезно было вглядываться в Сенино лицо, по нему было не угадать, что проходит перед его глазами, оно было неподвижно, черты чуть заметно обострились и словно очистились: когда исчезла всегдашняя Сенина ухмылка, сошли его взвинченность и нервность, возник точно другой человек, которого Инна прежде не замечала, глубокий и серьезный, полный загадочного внутреннего напряжения. Только его губы иногда шевелились, с них срывались звуки, складывавшиеся в слова, смысла и связи которых Инне уловить не удавалось. Чтобы лучше расслышать, она наклонилась к Сене и тут заметила дрожащий багровый отсвет в черном окне. Еще раньше, чем догадалась, что это отражение печного пламени за оставшейся открытой дверцей, Инна поняла, что именно так – как крошечный мерцающий огонь в бескрайней, без единого проблеска ночи – должен чувствовать себя Сеня, обреченный в своих странствиях между жизнью и смертью на одиночество, которое не с чем сравнить на Земле, потому что живых много, мертвых бесконечно больше, и только блуждающих между теми и другими единицы, и шансов встретить друг друга у них нет. Ее собственное одиночество в сравнении с испытываемым сейчас Сеней было просто детской игрой. О нем и говорить всерьез не стоило, если бы оно не было единственным, что было у них сейчас общего, единственным, что их сближало. Инна взяла Сенину руку в свои, его рука никак не реагировала ни на прикосновение, ни на пожатие, и безвольно лежала между ее ладонями, как прохладная вещь. Зато постепенно ей стали яснее произносимые Сеней звуки, возможно, она просто привыкла к его бормотанию и начала различать:

– Куда? Куда? Сейчас... Я сам... Я нет... Иду... Я не боюсь... Я знаю... Я смогу...

Иногда отрывочные слова и фразы меняли смысл на противоположный: «я смогу» на испуганное «не смогу», «я не боюсь» на паническое «боюсь!». Дальше слова делались неразборчивы, исчезали в невнятной абракадабре или надолго совсем смолкали, будто он входил в глубокие области, откуда голос не мог прорваться наружу. Иногда Сенины губы продолжали двигаться без звука, добавляя тишины к тишине дома и ночи за его окнами, тогда Инне приходилось сглатывать, чтобы не заложило уши. Сенино лицо не было абсолютно бездвижным, время от времени между бровями возникала вертикальная морщина, придававшая ему выражение тревоги, испуга или боли. Похоже, мало приятного было в тех местах, где он находился. Когда Сенины пальцы еле заметно зашевелились, будто он пытался сжать их, чтобы удержать Иннину руку, но сил на это у него не было, она отчетливо осознала, что он подошел совсем близко к смерти, она совсем рядом, причем не только в тех внутренних пространствах, где Сеня двигался вдоль ее пределов, но и здесь, в доме. Инне не было по-настоящему страшно, ей самой смерть ничем не угрожала, и все равно это было невыносимо тревожное присутствие,

поскольку смерть собиралась забрать Сеню, и она никак не могла этому помешать. Инна стиснула Сенину руку, но это было так очевидно бесполезно, что она едва не заплакала. Закусила губу, чтобы сдержаться, и, быстро переводя взгляд из угла в угол, осматривала комнату, пытаясь угадать, где притаилась смерть. Дверь громоздкого буфета была приоткрыта, она могла быть внутри, могла скрываться за любой из картин на стенах, особенно за двумя, нет, тремя, висящими чуть криво, – эта кривизна была подозрительна, как подозрительны были старые пальто и куртки на вешалке, едва заметно колышущиеся на сквозняке занавески, полотенце над раковиной (потому что было, наоборот, слишком неподвижно, и в этом был явный обман), пара как-то косо стоящих сапог в углу комнаты, неуклюжее кресло с подломившейся ножкой – все, на чем Инна сосредотачивала взгляд, обнаруживало ущербность, которая могла быть признаком присутствия смерти. Она понимала нелепость этого своего всматривания – что она сделает, если поймет, где смерть? Швырнет в нее ботинком? Пустой бутылкой из-под выпитого Сеней вина? Но не могла остановиться. И чем дольше она всматривалась, тем обманчивее и ненадежнее делалось все, что ее окружало, насквозь пронизанное смертью, тем сильнее росла тревога.

– Где? Я где? Где лестница? Где вход? Не знаю... нет... – бубнил Сеня, блуждая в неизвестных местах в окрестностях смерти и не подозревая, что, пока он ищет какой-то свой вход, она уже нашла его самого и готова забрать. Сжимая Сенину ладонь, Инна думала, что похожа на поводыря, переводящего через полную машин улицу слепого, не подозревающего о грозящей ему опасности.

– Я упаду... Я не смогу... Я знаю вход... Я знаю ключ... Я свет. Там свет. Другое. Все другое. Новый мир. Новый свет. Я не боюсь!

Сенины пальцы вновь задвигались в Инниной руке, будто хотели что-то сообщить ей, чего-то от нее добивались. Может, все было наоборот, и не она была его поводырем, а он пытался стать ее проводником в открывающемся ему новом мире, которого она не могла увидеть? Инна не успела додумать эту мысль, потому что в нос ей ударил резкий неприятный запах. Он исходил от Сени. Потрогав его джинсы, Инна убедилась, что он обмочился. Видимо, он все-таки боялся и боялся сильно.

Этого ей только не хватало! Что с ним таким делать? Где здесь искать чистые вещи? Где-то ведь они обязательно в этом доме должны быть. Инна расстегнула и стянула с Сени джинсы, потом мокрые трусы, бросила взгляд на его беспомощную наготу, тощие ноги, испуганно, точно от осознания своей вины, съежившийся член. (Захотелось утешить его, погладить: ну описался и описался, ничего страшного, с каждым может случиться.) Вспомнила, как сидела с семимесячным ребенком старшей сестры, пока та ходила с мужем в театр, и тоже переодевала его, обделавшегося во сне, пеленала и утешала, когда он раскричался, проснувшись. (Не сказать, чтобы это ей особенно понравилась, но она поняла простоту и неизбежность этих действий, и сама удивилась, как хорошо у нее все тогда получилось.) Теперь перед ней лежал ребенок почти двадцати лет, и было неизвестно, проснется он или нет, худой долговязый ребенок, блуждающий между жизнью и смертью, открывая в этом движении неизвестные миры, которых ей никогда не узнать. Инна намочила край полотенца, обтерла Сеню, вытерла насухо, кинула полотенце на пол к джинсам и трусам – вот и все, что она могла для него сделать. Ну, еще прикрыла покрывалом. Больше не в ее силах. Села рядом, ощущая, как затопляет ее жалость, парализует бессилие. Никогда не думала, что в ней окажется столько жалости. Ее стилем были сарказм, насмешка, особенно по адресу мужчин, таких банальных в своем примитивном желании, вечно хотящих от нее одного и того же – никакой жалости к ним она никогда не испытывала. И вот Сеня, меньше всего похожий сейчас на мужчину, который что-то от нее хочет, открыл в ней какой-то ей самой неизвестный шлюз жалости, сквозь который она хлынула так, что хоть плачь. Инна и в самом деле всхлипнула, но, услышав свой всхлип, взяла себя в руки. Она не заплачет, не на ту напали. Да и глупо плакать, когда никто тебя не

видит. И бессилию она не сдастся. Она встанет и пойдет искать чистое белье и одежду, чтобы переодеть этого идиота. Встанет и пойдет. Инна дала себе еще пару минут собраться с духом, оглядела напоследок комнату, заметив, что перестала чувствовать присутствие смерти, – вероятно, такое отчаянное проявление жизни, как писание в штаны, заставило ее отступить. (Затаиться? Перейти в другую комнату?) Провела рукой по Сениным волосам, поднялась и вышла.

И тут же пожалела об этом. Темнота в коридоре была такой плотной, что сперва Инна не могла сделать ни шагу. А когда все-таки, держась за стену, начала двигаться, то шла на ощупь, раздвигая ее глазами, проталкиваясь, протискиваясь сквозь нее. Она смутно помнила, что по обеим сторонам коридора были двери, ведущие в комнаты, но на каком они расстоянии друг от друга? Сколько еще нужно ей сделать этих проваливающихся во мрак шагов? Оттого, что Инна не видела не только ничего вокруг, но и самой себя, каждое движение совершалось наугад, в неизвестность. Один раз она ударилась обо что-то коленом и даже не смогла понять, что это было. Тумбочка? Стул? С минуту постояла, пережидая боль, слыша, как громко стучит в груди сердце. Казалось, вся необъятная гулкая темнота старого дома вслушивается вместе с ней в эти удары. Нечего здесь бояться, уверяла она себя, дом давным-давно пуст. В том-то и дело, что пуст, возражал ей у самого сердца шевелящийся страх, кто знает, что – или кто – заводится в деревенских домах, годами стоящих без хозяев?

Шаг, еще шаг, еще один. Даже Сене в его потусторонних странствиях видно больше, а значит, и идти легче. Думая о Сене, Инна не могла не думать о смерти. Гнала от себя мысль о ней, но, как всегда, мысль, от которой пытаешься избавиться, становилась неотвязной. Смерть никуда не делась, она была здесь, неизвестно где, но это было и не важно: темнота отменяла все контуры, все стены и перегородки, да они и без нее не могли бы служить защитой – смерть не знала преград. Неосознанно Инна старалась ступать как можно тише, словно была проникшим в дом вором и каждый скрип половицы выдавал ее с головой.

Наконец стена под ее левой рукой подалась вглубь, Инна нажала сильнее, и дверь открылась в комнату. Тут тоже было темно, но по сравнению с кромешным мраком коридора это был всего лишь полумрак, разбавленный четвертьмраком заоконной ночи с луной меж туч. Инна легко нашла выключатель, зажмурилась от вспыхнувшего света, огляделась. Здесь был книжный шкаф, письменный стол, диван и два больших кожаных кресла, повернутых к двери, будто ждущих, чтобы Инна устроилась в любом из них с книгой, забыв про все на свете. А вот платяного шкафа не было. Это значило, что кресла ждали напрасно, она не сядет с книгой на этом острове света и уюта, а продолжит поиск. Но теперь она будет умнее: оставит дверь открытой, чтобы свет из комнаты падал в коридор. Так она и сделала, подложив под дверь первый попавшийся толстенный том какой-то советской фантастики. Шагнула в коридор и увидела в дальнем его конце, куда не доставал свет, выступивший ей навстречу из темноты контур женской фигуры.

Инна задохнулась. Сжатый комок страха взмыл, расширяясь, вверх из груди и перекрыл дыхание. «Нет, – только и сумела прошептать она, – нет...» Она знала, что смерть в доме, ни на секунду о ней не забывала, но чтобы так... чтобы лицом к лицу... встретить, как живого человека... Это было невозможно – но тут же пришло мгновенное, без слов, осознание того, что все уже давно невозможно, события, одно дичее другого, обрушиваются на нее с такой скоростью, что граница между возможным и невозможным, пройденная незамеченной, осталась далеко позади, теперь не узнать, где. «Вы ошиблись, – хотелось крикнуть Инне, – я же не Сеня! Вы за ним, а не за мной, вам к нему!» Но голоса не было, как в страшном сне. Чтобы убедиться, что не спит, Инна подняла руку, потрогала лицо – и увидела, как поднесла к лицу руку женщина в дальнем конце коридора. Комок страха съезжился, уступил место дыханию, вместе с ним вернулся голос, но кричать отражению в зеркале предательские слова «вы за ним, а не за мной» не имело смысла. Она сделала еще несколько движений проверить, что отражение не своеволь-

ничает, слушается ее, то есть это действительно отражение. Оно было покорно ей больше, чем собственные руки и ноги, ставшие после пережитого ожога ужаса ватными, почти чужими.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.